

РОССИЯ В ТРУДЕ, ХОРОВОДЕ И НА ВОЙНЕ

Стихи Николая Рубцова и Юрия Кузнецова

Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.

А.С.Пушкин. «Герой»

Необходимость перемены мест, хотя бы и в пределах родины, русские люди воспринимали по-разному, да и доля вынуждала их к этому разная. Но так или иначе, при всей в общем коренной оседлости русского народа, от этой его черты неотделима и другая и тоже коренная — всё-таки склонность двигаться, странствовать, скитаться, слоняться, носиться вскачь и даже летать по стране: давать ей прирастать, а её посланцам с пользой для мира позволяя обходить порою даже и чужие моря и земли.

У человека, лишённого поэтического чувства и творческого дара, передвижение по свету может быть тупо-маниакальным, как у рабочей лошади с зашоренными глазами, и такие перемещения обречены постоянно воспроизводить в смысле созидания — вхолостую и безрезультатно — один и тот же маршрут. (То, что подобное движение и зашоренное созерцание родного или вселенского может оказываться обставлено умными усмешками и саркастическими подмигиваниями читателю, а потом и рукоплесканиями либо посмертными вздохами поклонниц, сути дела не меняет. Например, литературный проект «Москва—Петушки» такому клиническому порою состоянию странника-героя и бессмысленности его опытов есть явное удостоверение.) Если же взять полноценную и полнокровную, без всякой лейкемии, собственно поэзию, то её странничества возвышенны и чрезвычайно познавательны. (Последнее — познавательность, согласно Ф.Г.Гегелю, достижимо даже при их содержательной ничтожности наблюдений собственно авторских — те же «Петушки»; но имеет особый смысл вдумываться в образцы большей серьёзности.)

Развернем замечание, что уровни серьёзности способны быть различными. «По всей земле пройти мне в кедах хочется»; «а я

кидаю камешки с крутого бережка далёкого пролива Лаперуза»; по возвращении из Мехико-сити «раздумчиво сойду на станции Зима» (такова несколько суетливая, если не суетная, подвижность шестидесятников, их тревожная до крайности молодость). Возможно, нечто более близкое к подвижничеству, «чтоб от Японии до Англии сияла родина моя» (славное по-своему поколение ИФЛИ); ещё раньше — «я тебя, пропахшего ладаном, раскрою от Багдада до Аляски» (обобщали опыт авангардистского ВХУТЕМАСа). На пути от приблизительного к совершенному и классическому возникло всенародно-законоподобное «Широка страна ... от Москвы до самых до окраин». Вполне общенародно и «Я иду долиной. На затылке кепи...», или «В том краю, где желтая крапива и сухой плетень...», или пролетание-скáчка по жизни и по Родине на розовом коне (это есенинские передвижения по сельской местности). Вполне серьёзно «Выхожу я в путь, открытый взорам... буду слушать голос Руси пьяной...» или «Наш путь — степной. Наш путь — в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь!», как это возглашено у Блока; или же, «удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь небесный исходил, благословляя» (возможно подозрение — не раз высказанное и в адрес Христа из «Двенадцати» Блока, — что поэт тут имеет в виду хотя бы отчасти, но также самого себя). Возможно также — и такое было, и оно иногда повторялось, да и сейчас себя обозначает нередко — «на тебя, подбоченясь красиво, загляделся проезжий корнет»; это, по Некрасову, тоже одна из разновидностей русского движения. А некрасовское же «все хорошо под сиянием лунным, всюду родимую Русь узнаю» — не образцово ли это для железнодорожной уже эпохи? Ещё раньше — «Люблю отчизну я... Проселочным путем люблю скакать в телеге...» у Лермонтова. Ещё раньше «Давай улетим!» у Пушкина — «туда, где синеют морские края» (то ли с суровой родины на вольную чужбину, то ли домой, на родное лукоморье: там русский дух, там Русью пахнет; край нашенский).

О, Русская земля! Ты уже за холмом... Так задолго до всего приведенного даже и начиналась наша поэзия — походом по Руси и за её пределы, — начиналась, чтобы позже нашей же словесности пришлось не раз отметить, как может оказываться ущемлено или подвергнуто развалу то, что некогда было украсно украшено, и чтобы подсказать: туда, во спасение домашних дел, надо срочно вернуться, если вы от них слишком беспечно отвлеклись, если вы чересчур увлеклись вселенским за счет родного. Странно ли, что и совершенно советский поэт вдохновился и запел:

Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племён!

Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времён...

Это странно едва ли, хотя вопрос, «поневоле иль по воле мчится он в ночную тьму», конечно, остается, как остается и ещё немало вопросов. Нарисовав изумительную картину русской жизни, доставшейся лично ему и всем нам на сохранение-оберегание, мы ещё воссоздадим эту картину полностью, и Рубцова же словами поэт заключает своё памятное стихотворение:

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреде удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...

Чей-то сын, всадник, отрок — каких он сын и посланец вольных племён? Неужели разных и тогда отчасти «ненаших»? (В ином сознании такое понимание разноплеменности представимо.) Почему кто-то (или что-то?) мог бы полёту помешать, его даже нарушить? (Чувствуешь: Рубцов этого боится; беспокоится, что не только он сам нарушит чей-то сон, но и его собьёт с полёта.) Почему никто не даст страннику свой отклик-ответ? А ведь **не дает ответа**. И кто именно тот, всё-таки разглядевший отрока, израненный ратник? Память что-то подсказывает пушкинско-лермонтовское, как и в строке про «сны деревень», — ведь читателю здесь неизбежно вспоминается «старый инвалид, покойный на постеле» из «Клеветникам России» (причем и там в связи с ветераном был задан очень и очень важный для России вопрос). Но, так или иначе, этот собственно рубцовский воин — кто? Которого именно он года призыва?

В сонме тех, кто мог явиться свидетелем рубцовского полёта над Отчизной, способны оказаться сразу несколько поколений из XX века.

Возможен призыв 1904-го года. Возможен и 1914-й. Возможен тот, для кого был началом Сиваш—Перекоп. Возможен тот призыв, что состоялся, под Колчаком, где-нибудь в Минусинске или Ачинске, а закончил свой поход на Тихом океане. Возможен Халхин-Гол, который свел призывника 1914 года Георгия Константиновича Жукова с такими новобранцами, что и 1917 года не видели. Возможна (1939–1940) та война, которую поэзия, что обновляла свой словарь и идейные прицелы от съезда к съезду и от пленума к пленуму, однажды как-то по-меньшевистски, как-то капитулянтски назвала «войной незначимой». Ведь и с неё

приходили потрудиться снова на родной ниве израненные Иваны Африкановичи, грудью обеспечившие ещё тогда — загодя и впрок — огромное: это были люди разных племён и даже вер, обеспечившие в северных снегах своею кровью недоступность, неприступность и непокоренность Ленинграда.

Или перед нами, в стихотворении Рубцова, призыв 1941 года (с парадом 1945-го), когда сама история веским словом-делом подчеркнула наше общее место в мире среди равных?

Все эти призывы возможны, хотя бы и на покое, хотя бы и на покое нелёгком для старца. Они представимы, для художника, и все в одном строю сразу. Для поэзии прошлого нет. Тем не менее предварительно заметим: всё равно и тут всё время налицо какая-то загадка, какая-то даже **задача** и какая-то **высокая воля-неволя**.

* * *

Велика, очевидно, именно **повелительная сила традиции**, это она законодательна — и, по Гёте, как раз

такой закон дарует нам свободу.

Und nur Gesetz kann uns die Freiheit geben... Вернуться к стихотворению Николая Рубцова у нас ещё будет повод — а если сказать решительнее, в его фронтальном научном освещении или в его даже сквозном спектральном анализе есть прямая потребность. Не без прицела на это попробуем снова и пристальнее вдуматься, что именно побуждало наших поэтов к путешествованию и полёту по родному краю и над ним. Делая это через ими же предложенные образы, полезно и дальше размышлять о русском полёте-странничестве этими же самыми образами — не повреждая их самих и выравнивая ими свою собственную мысль в той мере, в какой ей хотелось бы обеспечить убедительность.

* * *

Пушкин, один из первых подлинно крылатых гениев в деле полномерного охвата и познания России, недаром напитал своё уже процитированное «улетим» щемящею (NB: не «пронзительной») тоской: ведь это не воздухоплавание нувориша ради dolce far niente, а полет-побег **узника**, да и узы его и цепи — увы, есть узы и цепи родные, а не неволя некоторого измышленного «турка». (И даже если вы назовёте их — хотя бы и не к месту, но всё-таки философствуя, — узами «мироздания вообще», а не презренными узами царского сыска, полицейской ссылки или самодержавного строя, — они, эти узы, родными поэту останутся всё равно, ибо мироненавистником, врагом и чужаком для мира в

целом Пушкина назвать невозможно, а уж тем более невозможно оснастить это какими бы то ни было доказательствами.) Помимо мировой тоски, Пушкин же мог предаваться недовольству чисто житейскому, отдаваться настроенью минуты — отчасти шутейному, мрачному, что не всегда понимали, — и чисто житейское смятение он мог, конечно, словесно подавать как сетование на жизнь в принципе. («Дар напрасный, дар случайный» из такого разряда. Это встречало консисторские реприманды: «не напрасно, не случайно, Пушкин, жизнь тебе дана» — и Пушкин дисциплинированно-ученически поспешал отвечать по инстанциям в духе «виноват, исправлюсь»: а что было ему ещё делать?) Пушкин мог стенать и клясть всё ту же перемену мест, чертыхаясь на ямщика-кучера и даже на егеря-жандарма и на судьбу:

Долго ль мне гулять на свете
То ль в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то верхом?

Он мог, тут же смиряясь, крикнуть замешкавшемуся ямщику «Погоняй!»; он мог и всерьёз, если верить Гоголю (в рассказе об им же, Пушкиным, внушенных и по-гоголевски исполненных сюжетах), промолвить «Как грустна наша Россия». Но, разумеется, он видел, знал и передал для нас всю огромную объёмность русского державного и одухотворенного величия, всю захватывающую и вдохновительную красоту русского пространства и его содержания. Эти безмерные просторы

от Перми до Тавриды,
от финских хладных скал до пламенной Колхиды,
от потрясенного Кремля
до стен недвижимого Китая

или были действительно изъезжены им, или — в последнем, дальневосточном направлении — намечались к этому; и это намечалось не ради посмотренья, а именно к **познанию России как Родины** на её ответственной границе. Подчеркнутое нами важно, ибо возможен, при созерцании нам родного, и

гордый взор иноплеменный,

— а также возможно и полное, даже презрительное безразличие к России при посещении её издалека и на капризно-жадной ловле, при чужой родине, счастья и чинов для себя.

Родное же — оно и в нереспектабельных, досаждающих, удручающих и смешных проявлениях родное. В нашей поэзии — если «Мертвые души» есть на самом деле поэма — Гоголю довелось без всякого противоречия своему наставнику Пушкину и

его грусти подтвердить это, внушить нам естественную достоверность этого. Вот строки, после которых появление в русских хождениях и полётах слов «будто я осенней гулкой ранью проскакал на розовом коне» тоже покажется достоверно-закономерным. Не имея, по ряду причин, возможности процитировать здесь известнейшую поэму Гоголя в целом, выберем из неё самое, очевидно, поэтичное.

«Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город позади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоянного двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батарее, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянута вдаль песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца... **Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу:** бедно, разбросанно и неприятно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчаные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные деревья и плющи, вросшие в дома, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдаль вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и розно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но **какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..** И еще, полный недоумения, непод-

вижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройти ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! **какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль!** (*нота бене в связи с незнакомой земле далью: Русь, она будто на небесах. — С.А.*) Русь!..

— *Держи, держи, дурак!* — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! — И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка.

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и как чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух... покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмемся к углу! В последний раз пробежавшая дрожь прохватила члены, и уже сменила её приятная теплота. Кони мчатся... как соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон слышатся и “Не белы снеги”, и сап лошадей, и шум колёс, и уже храпишь, прижавши к углу своего соседа. Проснулся: пять станций убежало назад; луна, неведомый город, церкви с старинными деревянными куполами и чернеющими остроконечьями, темные бревенчатые и белые каменные дома. Сияние месяца там и там: будто белые полотняные платки развешались по стенам, по мостовой, по улицам; косяками пересекают их черные, как уголь, тени; подобно сверкающему металлу блистают вкось озаренные деревянные крыши, и нигде ни души — всё спит. Один-одинешенек, разве где-нибудь в окошке брезжит огонек: мещанин ли городской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возится в печурке — что до них? А ночь! Небесные силы! какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.. Но дышит свежо в самые очи холодное ночное дыхание и убаюкивает тебя, и вот уже дремлешь и забываешься, и храпишь, и ворочается сердито, почувствовав на себе тяжесть, бедный, притиснутый в углу сосед. Проснулся — и уже опять перед тобою поля и степи, нигде ничего — везде пустырь, все открыто. Верста с цифрой летит тебе в очи; занимается утро; на побелевшем холодном небосклоне золотая бледная полоса; свежее и жестче становится ветер: покрепче в теплую шинель!.. какой славный холод! какой чудный, вновь обнимающий тебя сон!»

Вот она, небесная даже как-то, страна — страна для кого-то удручающе-мертвой бездуховности и грязи — стоит позволить себе только спуститься чуть ниже Курбского, Чаадаева, Герцена или, если взять образ из Ивана Солоневича, ниже совокупных **бердяй-булгаковичей** новейшего времени (обобщаю целый ряд концепций российской недостаточности, имеющих место в мировой славистике). О, есть логика в том, что уже гораздо более поздний, чем начало «Мёртвых душ», и уже особо учительствующий Гоголь перед любым задумавшим обустроить Россию выдвигает требование — сперва **проездить** по ней. Путь может пролегать в любых и во всех направлениях: как из Петербурга в Москву, так и из Москвы в Петербург, как от Кремля до Китая, так и от Владивостока до Кремля: с выходом странника, изучателя или возвращенца к ликующим до ризположения согражданам на каждом полустанке, но с ориентиром именно на Кремль (и, конечно, на «просвещенную монархию» — да и, чего греха таить, на прямое собственное воцарение там). В случае же недостижимости прямого воцарения — опять проклятия родному, в духе

Я не знаю, зачем я живу
И чего я хочу от зверей,
Населяющих злую Москву —

если допустимо взять именно этот довольно недавний образ (1960-е годы), а не вспоминать фантазии подпольщика и тоже обустроителя страны, как его представил за сто лет до Есенина-Вольпина острый язык Достоевского:

«Я, например, над всеми торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства, а я их всех прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером; получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий и тут же исповедываюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много «прекрасного и высокого», чего-то манфредовского. Все плачут и целуют меня (иначе что же бы они были за болваны), а я иду босой и голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем».

Двести лет вместе с нами эти аустерлицкие посягательства улучшить страну. Но всё-таки: **Русь, чего же ты хочешь от меня? Дай ответ!** Для вдумчивого русского это необходимо; и даже для русского гения это загадка.

Не дает ответа. Но она чего-то хочет от меня, от тебя — **от нас**, что особенно важно. За несколько надуманной фигурой «русская идея» встает хотя и тенью ещё, но совершенно реальная и неотменимая при этом **русская задача**. Её надо осознать и выполнить, и поэзия подсказывает, что выполнять и как.

Есть впечатление, что именно за этим отправлялись в путь многие послепушкинские поэты-странники (многие, а не все — потому что некоторые предпочитали искать идею, а не задачу, а некоторые считали, что идея и задача внушены им или достались им в распоряжение заранее и заведомо, в силу высокой культурной подготовки и развитого начитанностью ума).

Среди послепушкинских, и в пушкинском духе, странников и Николай Рубцов. О, крестьянину-сироте, солдату-рядовому, бездомному и безденежному студенту советского послевоенного времени не надо было книжного наставления «проездиться» (фразу «надо проездиться» любил, впрочем, повторять Александр Блок; несколько иной случай). Рубцов же — уж он-то Россию поизъездил, без всяких притом путевых листов и подъемных. Он, горемыка, действительно «слушал голос Руси пьяной, отдыхал под крышей кабака», даже вторил ему. Он знал по себе «широка страна моя родная» и «злую Москву» не честил. И он нашёл, какое надо сказать относительно общей задачи **новое слово**, которого Пушкин наверняка ожидал, хотя сам и не произнёс. Вслушаемся в это слово, которое мы выше привели только в его самом вступительном начале.

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времён...

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках пронесил!

И быстро, как ласточки, мчался я в майском костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись в торопливом немолкнушем шуме
Весенние воды, и бревна неслись по реке...

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, —
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!

Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, мое божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...

Что же сказано здесь и вечного, и **нового** о русской жизни и её задаче? (А за плечами у Рубцова «Слово о законе и благодати», «Слово о полку Игореве», «Слово о гибели Русской земли», воинские повести и песни времён Золотой Орды и покоренья Крыма; Пушкин и Вяземский; Гоголь и Лермонтов — с его к Отчизне любовью даже «странной»; Некрасов, Тютчев и Блок; Есенин и Маяковский; Борис Леонидович Пастернак и Осип Эмильевич Мандельштам). Из чего это вечное и новое можно вывести силой чувства, родства и ответственного воображения? И если это была задача для поэта, то для науки это надо извлечь из того, что поэтом уже дано, ничего в данное уже не примысливая.

То есть это надо выводить не иначе как из художественной ткани; не иначе как путём интертекстуального анализа; не иначе как из мифопоэтики и парадигматики. Не иначе как из специфики общесоветского постоттепельного дискурса. Не иначе как из резонантного художественного пространства, из архетипики и синтагматики.

Отставим хотя бы ненадолго в сторону загадку «сына племён»; пусть племена разные, но для опыта Советского Союза это не актуально. Поэт мог быть иного племени, как отчасти Вампилов. Да и его ратник, венчанный вольностью и честью Родины и Европы, мог быть и тем же Иваном Африкановичем, и сородичем Ковпака либо Ивана Туркенича, или же Жоры Арутюнянца из Краснодона. Он мог быть чудодейственно уцелевшим, после невиданного холокоста от Японии до Англии, родственником

Павла Когана, или подавшимися, по выходе в пенсионеры, на село «профоргом» 18-го цеха Московского электрозавода старичком-слесарем Мишей Фрадкиным. Да что греха таить: он мог быть татарин, отстаивавшим не на жизнь, а на смерть Брестскую крепость, он мог быть даже героем России черкесом Измаил-беем Атажуковым — только героем нового уже времени, переместившимся по неволе или по воле после взятия Берлина куда-то поближе к Белому морю или Тихому океану. Зачем педалировать разноязыкость и разноплеменность; все знали своё место среди равных; всем досталось и победы, и беды поровну. Зачем нервировать себя, далее — а нервничающие есть — и всего лишь русскоязычностью тех, кто по крови для усвятских шлемоносцев единоплеменником не был. Русский язык гостеприимен и вседержателен, в нём любой нашёл бы нужное или близкое: «нашёл бы в нём великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и итальянского языка» (М.В.Ломоносов). Наконец, по самому глубокому корневому, по самому высокому духовному существу

Все мы кровные мира сего,

как выразился младший современник Рубцова кубанец Юрий Кузнецов. И разве их обоих старший современник, разве киргиз Айтматов не писал своей поэтической прозы сразу по-русски? Художественного качества его повестей о верблюдах это никак не затрагивало. Обратимся лучше к тому, что у Рубцова изумительно-классично и традиционно. «Я буду скакать...» или глубочайше насыщено — или источает их само — веяниями благородного русского лиризма и россиеведения: «проскакал на розовом коне»; «я иду долиной, на затылке кепи ... я ли вам не свойский, я ли вам не близкий»; сольются ли ручьи в русском море либо иссякнут; родимые места, «где каланчой с берёзовой вышкой взметнулась колокольня без креста» (плюс пушкинское «не дай мне Бог сойти с ума» и «смотреть ... в пустые небеса»; впрочем, не страна ли уже в целом соглашается у Рубцова себя так обезглавить); «слышу гомон хора, слышу топот трепака — это русская свобода, это радость русака»; «всё хорошо под сиянием лунным». Как исторический фон, подчас контрастный, здесь просматривается всё понимающий Базаров — «природа не храм, а мастерская»; здесь лермонтовское «проселочным путём люблю скакать в телеге ... дрожащие огни печальных деревень ... пляска с топаньем и свистом»; здесь, из «Узника», «мы вольные птицы»; здесь и тот же, наконец, пушкинский инвалид; здесь и «Свадьба» из наследия Бориса Леонидовича Пастернака —

Только песня, из окон
Рвущаяся снизу,
Только свадьба, только сон,
Только голубь сизый.

Где-то за этим всматриванием в Россию бойкую и буйную со стороны (у Пастернака — взгляд на народный «двор» с уровня московского верхнего этажа) проглядывает даже и Мандельштам — глядеть на мятущийся русский мир (1917)

и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

(«...Виден артист», заметил о подобном Александр Блок (1920) — ибо стихи Осипа Эмильевича рождались как у подлинного поэта — «из снов», не сразу проступающих сквозь «общегумилёвское распевание»; упомянем заодно, в порядке регистрации интертекстуальности, и блоковское «да, и такой, моя Россия, ты всех краёв дороже мне».)

В мире Рубцова, который иногда почитается камерным, налицо следы из поэзии «для немногих», из всяческого «уединенного», из поэзии общенародной и, как правило, великой. (Только «звездная люстра» слегка отдаёт Северянином либо Андреем Андреевичем Вознесенским, который, как и автор «Свадьбы», из укромного места, если не с небес, подглядывал — бывало и такое — за кувыркающимися в снегу, после бани, приветливыми молодыми дамами-сибирячками.) Эти следы изобильны. Однако что же, наконец, Рубцов сказал или подсказал **совершенно нового** о состоянии Родины, о состоянии её слова и строе рядов её художников слова? Что он нового добавил в собирательный образ общерусского? Ведь следы истины в художественном мире должны в конечном счёте выводить последователей вперёд, а не назад?

Рубцов засвидетельствовал то и так, как это только и может делать реалист-лирик: отразил жизнь в её развитии, совершенно живом, с расцветом, зрелостью и сезонным увяданьем, и сказал этому своё «люблю».

Плясал сам председатель; плясал и веселился со всеми сам певец «воскресных ночей», знавший будни пахаря и пастуха, лесоруба и лесосплавщика. **Эпоха присматриванья к народу, гляденья на народ, подглядыванья за народом, эпоха одобрительного к «моему народу» подслушивания «песен снизу», эпоха чисто словесного породнения с народом** — даже при том, что и такого, при весомости и чистоте слов, уже немало — эпоха проезжих корнетов и странствователей по родной стране в «голландских ботфортах», эпоха знакомства с родной в режиме «грозу переждали и вышли искать дупелей» — эта эпоха завершилась. «Встали небужены, вышли непроше-

ны», лучшие поэты нового времени взяли слово сами, не снимая, для единения с народом, хотя бы и «к черту», с плеч английских костюмов и с руки — «лайковой перчатки», и при исполнении общего дела своими руками — без понукания и зуботычин для челяди: егерей, лакеев, доезжачих, горничных и дядек (ну, пошёл же, погоняй; держи, дурак и вот я тебя палашом). Люди с мозолистыми ладонями, сироты и ремесленники, рядовые и обученные лишь трудом с малолетства на совершенно родной земле —

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В полях, словно ангел, под куполом синих небес! —

засвидетельствовали: счастье общего труда и общего праздника — не сон, а действительность их времени. Застав общество в такие подлинно звёздные часы, они зарисовали его словом — и если не «идею», то выразили дух и наметили задачу:

«Останься, моё божество!»

Закреплённое словом и осталось как неустрашимый факт — ибо история художественного слова нации (А.В.Михайлов) есть наиболее воплощение истории нации и наиболее совершенный вид её, истории, «пребывания» в вечности. Другие времена — кроме времени советского — такого вечно верного не знали.

Задача — «останьтесь» — у кроткого Рубцова выражена, будучи хотя и императивом, нежно-молительно. А вопрос? Пушкин, более в таких делах решительный, помогает уловить и русский рубцовский **вопрос** — не весь (ибо весь вопрос у Рубцова если не модальности, то по существу обозначен), а подспудно-подтекстовую или даже затекстовую часть его либо ноту его. Бывший десантник, вечная по-русски безотказная подмога молодым, — сможет он или не сможет, измученный в постеле, при надобности привинтить свой измаильский (сталинградский, ржевский, кишиневско-ясский, аустерлицкий) штык? Сможет ли это сделать без его помощи само молодое поколение; сможет ли оно завертеть хотя бы гайку важного механизма, если тот — общественный и общенародный, а не собственнически частный?

Вот вопрос. Если не сможет (ибо не захочет), Отечество придётся только вспоминать и действительно с грустинкой сладко декламировать «Россия, Лета, Лорелея».

* * *

Мысля образами поэтов, задумаемся теперь о творчестве того русского человека, младшего современника Рубцова, который — можно так сказать — сам только об израненном десантнике и его однополчанах либо родичах и думал, только памятью его,

убитого или усопшего, и жил сам, только его «старуху» по-настоящему воспел как совершенную русскую женщину, и для которого, вполне по Блоку (при всем отсутствии в советском поэте чопорной «голландскости»), наше дело было и память,

и вечный бой! —

причем уже совершенно в планетарных, при всей русскости задачи, масштабах. (Ему, кстати, доводилось, проехав Россию от Кубани до Забайкалья, и обходить моря и земли. Не он ли и на Кубе в 1962 году питал себя **русским духом** и говорил однополчанам: русского воздуха здесь нет — почти нет; русский воздух только в колёсах наших бронетранспортёров... Это, конечно, как раз русским духом и было, хотя и на чужом лукоморье.)

Тоже ведь образ, и ответственный, пусть он и не образовал «стихотворения». Среди поэтов — то есть людей, которые образами делают не что иное, как мыслят и **ставят задачу**, Юрий Кузнецов вдвойне поэт и вдвойне мыслитель.

Серебристая трещина мысли — его слова. Они и в пользу мысли вообще, и в пользу мысли тонкой, и в пользу мысли как тревоги. Мысль — это и знак невидимо-тонкого надлома, и она же какой-то целебный припой по шву, залечивающий надтреснутое. Для расколотого или подломившегося это и мертвая, и живая вода.

Сказанное и написанное Кузнецовым даже помимо поэзии — это напряженная, не знающая покоя мысль. И в поэзии он вдвойне образен — по насыщенности, густоте, бездонности образов. О, глубоко коренная его поэзия, которая корнями и питается от матери сырой земли и её же скрепляет, да ещё при этом соединяет и недра и небеса — она в целом именно бездонна.

Мысли в духе «литературоведения» здесь нередко должны скромно отступать в сторону. Рубцов, столкнувшись с которым на кухне Литературного института, Юрий Кузнецов подумал, что на одной кухне едва ли хватит места для сразу двух гениев, однажды передал это в стихах о существеннейшем русском — о журавлях (не путать с прибалтийскими, скажем, аистами):

Вот летят. Вот летят. Отворите скорее ворота!
Выходите скорей — посмотреть на высоких своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеют душа и природа,
Оттого что — **молчи!** — уж никто так не выразит их.

Не буду гадательно называть по имени, какого своего литературоведчески умного радетеля, наставника и комментатора Рубцов призвал помолчать, если речь идёт о самом важном. (Кузнецов — не знаю, позволил ли себе такое хоть раз; но должен был.) Скажу одно: русский мыслитель — это именно художник-

писатель, и никто иной. И Кузнецов вдвойне мыслитель — не потому, что помимо поэзии мыслит ещё и в статьях или лекциях, а потому что собственно поэтическая мысль его стихов сквозь достоверность житейского, исторического, личного неуклонно, мучительно для себя, а нередко мучая и нас, пробивается к безмерностям и неотменимостям чего-то гораздо большего, чем «реальная» жизнь и «реальная» история.

Художественная литература даже и без этого есть высший вид мышления: она есть постижение чего бы то ни было полнее, точнее и одухотвореннее, нежели это дано любой специальной и отдельной науке. У Юрия Кузнецова его мышление образами — это какая-то сверхмысль.

«Забыт Челубей», пишет он о наследии Куликова поля. Как «просто мысль» это весьма относительно, ибо кем забыт? Его же, Кузнецова, предшественник утверждает, и Кузнецов этого никогда не оспаривал:

Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь,

и это навеки. Уже поэтому нельзя сказать, что татарское забыто. Слово Блока загадочно-**правдиво**, хотя и не совсем внятно. Или пусть невнятно (ибо что есть «воля»? какая именно русско-татарская **воля** имеется в виду?) — но всё равно это так загадочно, что требует разгадки, а не пренебрежения. Кузнецов же пишет, если только что лишь вскользь упомянутое привести целиком:

Противу Москвы и славянских кровей
На полную грудь рокотал Челубей,
Носясь среди мрака,
И так заливался: — Мне равного нет!
— Прости меня, Боже, — сказал Пересвет, —
Он брешет, собака!

Взошёл на коня и ударил коня,
Стремнину копы на зарю накренья,
Как вылитый витязь!
Молитесь, родные, по белым церквам.
Всё навье проснулось и бьёт по глазам.
Он скачет. Молитесь!

Всё навье проснулось — и пылью и мглой
Повыело очи. Он скачет слепой!
Но Бог не оставил.
В руке Пересвета прозрело копые —
Всевидящий глаз озарил острие
И волю направил.

Глядели две рати, леса и холмы,
Как мчались навстречу две пыли, две тьмы,
Две молнии света —
И сшиблись... Удар досягнул до луны!
И вышло, блистая, из вражьей спины
Копье Пересвета.

Задумались кони... Забыт Челубей.
Немало покрыто великих скорбей
Морщинистой сетью.
Над русскою славой кружит воронье.
Но память мою направляет копьё
И зрит сквозь столетья.

(«Поединок», 1983)

Что кто-то «забыл Челубея», что его забыли все — слишком щедро и слишком доверчиво, если «мысль» понимать как простой жестокий факт и простую логику. К тому же сам поэт кое-что словно забыл тоже: ведь была пронзена и грудь Пересвета. Разве русские это «забыли»? Кузнецов помнит, пускай и говоря сам несколько иное. (И тогда более точен «невнятный» Александр Блок.) Но простор русской художественной мысли, но её просторность, но незавершенность русского исторического простора переданы и у Кузнецова всё-таки вполне; это всё-таки по-русски щедрая, по-русски доверчивая и вполне художественная сверхмысль.

Расположенность к сверхмышлению, недостижимому даже для философии (драгоценное свойство и всей нашей литературы) — оно не знаю откуда или не решаюсь впасть в словеса, но оно — это свойство, которое досталось ей и даром, и под расписку о его непременно и должном использовании в порядке священного обязательства. Не надо обкрадывать эту истину через отсылку к особым и невесёлым, к нашим сугубо русским обстоятельствам. Мол, у нас некие чёрные силы издавна или изначально не давали ходу что свободным наукам, что свободе газетного слова; от этого якобы и взяла наша литература на себя совершенно чуждую искусству слова ношу: разъяснять всё и разъяснять лучше всех других, хотя бы и благонамеренных.

О нет, всеобъяснительность, перед которой меркнут и возможности, и достижения любой отдельной и даже до конца свободной науки — что философии, что социологии, политологии, истории, психологии или футурологии, — это принципиальное и существенное свойство художественного слова, а не случайно, только на время и поневоле и даже, как уверяют, во вред чисто художественному делу приобретенное качество.

Так и всеохватительность поэзии Юрия Кузнецова — её природное и существенное свойство, она никаким замерам средствами кафедрального литературоведения почти не поддаётся.

В разное время что-то житейское, гражданское и земное бывает схвачено у поэта по-разному, это да. И обозрение им многогрешных и многострадальных дел земли не исключает совсем и всяких служебно-ученых измерений, комментариев, членений и периодизаций. Делят ведь развитие и развёртывание Пушкина на периоды — это и подсобно-уместно, и мало что объясняет. Три периода, три этапа. Так и русскую литературу в целом членили — и главное всегда выпадало. По чрезвычайно зрячему наблюдению Петра Палиевского (в его яркой книге «Шолохов и Булгаков»), есть три точки в том, что было создано и оглашено Кузнецовым к рубежу веков — «Атомная сказка», «Маркитанты» и «Федора». О последнем стихотворении я помню, как Кузнецов сам говорил: **да, мысль здесь есть, но она в образе — и никакой компьютер её оттуда не извлечёт и не передаст просто словами; никакой компьютер её и не опровергнет.**

На площадях, на минном русском поле,
В простом платочке, с голосом навзрыд,
На лобном месте, на родной мозоли
Федора-дура встала и стоит.

У бездны, у разбитого корыта,
На перекате, где вода не спит,
На черепках, на полюсах магнита
Федора-дура встала и стоит.

На поплавке, на льдине, на панели,
На кладбище, где сон-трава грустит,
На клавише, на соловьиной трели
Федора-дура встала и стоит.

В пустой воронке вихря, в райской куше,
Среди трёх сосен, где талант зарыт,
На лунных бликах, на воде бегущей
Федора-дура встала и стоит.

На лезвии ножа, на гололеде,
На точке і, откуда черт свистит,
На равенстве, на брани, на свободе
Федора-дура встала и стоит.

На граблях, на ковре-пансамолёте,
На колокольне, где набат гремит,
На истине, на кочке, на болоте
Федора-дура встала и стоит.

На опечатке, на открытой ране,
На камне веры, где орёл сидит,
На рельсах, на трибуне, на вулкане
Федора-дура встала и стоит.

Меж двух огней Верховного Совета,
На крыше мира, где туман сквозит,
В лучах прожекторов, нигде и где-то
Федора-дура встала и стоит.

(«Федора», 1993)

Уже по «Федоре» видно: вечный бой — а за битого двух небитых дают — он и здесь, от древнего разбитого корыта до пансамолета и обратно. Наше вечное, сквозное и стержневое у Кузнецова ни на какие периоды не разложимо. И это опять же русская война.

Есть поэт, у которого Юрий Кузнецов мог взять формулу «вечный бой», но постичь нашу Великую Отечественную войну как участок или средоточие вечного и всемирного боя было его собственным, было им самолично предпринятым делом. И вопрос о войне владел им вне того, что можно называть тем или иным этапом творческой биографии.

Биография оставила в его душе брешь. Он говорил, что отсутствии отца, погибшего в 1944 году при взятии наконец-таки временно утраченного страной Севастополя, он мог восполнить в себе только мучительно мыслящим, мучительно помнящим словом. (И поскольку похожая рана была нанесена у нас многим — он и в душах многих эту брешь заполнил; всех не опросить, но насчёт себя удостоверяю это с определенностью полной.) Однако человек, который хотел вдохновением и словом поэта связать и всё сверхиндивидуальное — он хотел

два разорванных света,
тот и этот, замкнуть на себе, —

такой человек, Юрий Кузнецов, и России, и всему человечеству сказал о войне даже больше.

Как это возможно в мировой литературе после «Илиады», «Одиссеи»? После «Войны и мира»?

Вникнем в стихотворение Юрия Кузнецова «Простота милосердия», чтобы понять и размах, и груз, и благородство его мысли. Подчёркиваю — со словом о войне выступает сын воина, погибшего в 1944 году от захватчиков: это не сын маркитанта, не сын собственно захватчика (какой-нибудь молодой задумчивый Ганс, вроде героя «Время жить и время умирать» — по службе гитлеровца, хотя бы он сам был ни в чем не повинен), не сын дезертира или власовца.

Это было на прошлой войне,
Или богу приснилось во сне,
Это он среди свиста и воя
На высокой скрижали прочёл:

Не разведчик, а врач перешёл
Через фронт после вечного боя.

Он пошёл по снегам наугад,
И хранил его — белый халат,
Словно свет милосердного царства.
Он явился в чужой лазарет
И сказал: «Я оттуда, где нет
Ни креста, ни бинта, ни лекарства.

Помогите!..» Вскочили враги,
Кроме света не видя ни зги,
Словно призрак на землю вернулся.
«Это русский! Хватайте его!» —
«Все мы кровные мира сего», —
Он промолвил и вдруг улыбнулся.

«Все мы братья, — сказали враги, —
Но расходятся наши круги,
Между нами великая бездна».
Но сложили, что нужно, в суму.
Он кивнул и вернулся во тьму.
Кто он? Имя его неизвестно.

Отправляясь к заклятым врагам,
Он пошёл по небесным кругам
И не знал, что достоин бессмертья.
В этом мире, где битва идей
В ураган превращает людей,
Вот она, простота милосердья!

Ни грана растерянного пацифизма, ни капли гуманистического сиропа, никаких стенаний-«размышлизмов» в духе Ремарка (уже упомянутое «Время жить...») или же в духе «Гемингвея, Майн-Рида нашего времени» (аттестат нобелевцу устами Набокова — стократ весомейший, чем его выдающая полное незнание с трактуемым вопросом и потому малохудожественная «Лолита»). **«Такого не было, такого быть не могло!** — из самых разных уст вполне представим, по поводу кузнецовской «Простоты милосердия», подобный возглас. — **Да, кстати, вы к чему эту всю сказку клоните?»** И не только «черные силы» или иные чисто внешние соглядатаи за искусством могли бы предать поэта за эти его стихи растерзанию. Представьте себе, что бы мог о таком сюжете сказать почти любой ветеран-фронтник в 1945, да и в 1985 году; тот же рубцовский «десантник», тот же беловский и достовернейше существовавший Иван Африканович.

Факт жизни фронта — или его дерзкое искажение? Вопрос этот очень остр. Но не только реальную правду факта — что

окопную, что штабную, которые одинаково непогрешимы в нашем военном опыте 1941–1945 годов, — превосходит сказанное Кузнецовым. Перед нами нечто сверхисторическое и сверхземное, всегда властвовавшее над поэтом, даже поверх гибели отца — и, конечно, важное и каждому народу, и каждому человеку.

Опять скажут, что вопрос древний и со всех сторон уже обдуманный. Разве не знали мы со времён Гомера трагичности распрей между братьями? Разве не об этом говорит, тая под спокойствием тона скорбь и тревогу, «Капитанская дочка» или «Тихий Дон»? И что можно предъявить существенно нового об Отечественной войне, даже Великой, и даже для Твардовского знаменитой, после «Войны и мира» Льва Толстого? (А такого у нас, бывало, как будто ждали, на непредъявленность такого не раз сетовали и нашей литературе чуть ли не ставили это в упрёк.)

Но ожидания, сетования и упрёки последнего рода ложны и тщетны. «Войной и миром», вслед за былиной о ратнике с шелепугой подорожною в руках — **всё для фронта, всё для победы** — и вслед за Крыловым русская литература высказалась о любой нашей отечественной войне раз и навсегда: «дубина» народной войны, поднятая по нашей земле повсеместно, от деревенской хаты до полка и до высокого штаба, — добавить к Толстому, былине и басне Крылова здесь нечего. Однако **мировая война**, однако столкновение **разных народов** до сих пор нигде не воссозданы и нигде не постигнуты. И Гомер, и Шолохов (на несколько ином, если не на существенно ином художественном уровне — Маргарет Митчелл в «Унесенных ветром» и Борис Леонидович Пастернак в «Докторе Живаго») говорят о распре внутри национально единого, не разноязыкого мира. И, конечно, их, их подход нужен, а не толстовский — но только к безмерно более непостижимому пространству и объёму: **ко всему миру, охваченному войной**.

Вопрос о возможном и необходимом для расколотого человечества — не для лживо, воровато и трусливо «примиряющихся» каждое 8-е мая пацифистов, не для общечеловеков с рыльцем в пушку, которые при их блудливом всепрощении ухитряются подсовывать исторический счет почему-то по-прежнему России да России.

Кто именно из «кровных мира сего» обладает правом ставить этот вопрос? Кто именно из них — прочтите об этом в стихах Кузнецова — достоин бессмертья? Только тому и дано на земле право считывать и оглашать тяжкую и необходимую истину с высоких скрижалей.

Скажите, что Юрий Кузнецов не мыслитель послеоктябрьского века! Цепенея и содрогаясь от его картин, нельзя не признать глубину, отвагу и властительность его сугубо русской и всемирно-обязательной мысли.

Неизвестно, возможен ли эпос о войне 1938–1945 годов (завершенной усилиями, жертвой и победой России) как о войне мировой, где, помимо продуманных злодейств фюрера и Менгеле, Геббельсов, Йодлей и Кессельрингов, помимо пособничеств Квислингов и «лесных братьев» и помимо предательств Лавалей-Петенов и «где-то трагичных генералов Власовых», смертно столкнулись (не их ли были миллионы) прямые «кровные мира сего». С одной стороны, и Шолохов бы понял такое противостояние в принципе, это были не желавшие чужой земли ни пяди Иваны Африкановичи, а с другой — по слепоте вовлеченные в захват чужих земель наши враги: подлинно враги, но из мелкой, коварно обманутой всевропейской сошки; из мелкой и даже совсем трудовой сошки, повторим иначе, но враги и захватчики. Там будут и западные борцы и уклонисты, не только по Анне Зегерс, но и по Гансу Фалладе, будет новый Швейк, там будут французские, по Луи Арагону, коммунисты, сластолюбивые бонвиваны в частной жизни и верные в боевом деле; там будут всемирные Жилины и всемирные Костылины. О, там будет ещё и заблудившийся в силу «человеческого, слишком человеческого» Андрий Бульбёнок — если не прямо с Днепрогэса или с Хортицы, то откуда-нибудь из Станислава и Тернополя. («Славный был бы козак!») — говорит о нём Тарас верному сыну Остапу — и они хоронят бедолагу справедливо — по-православному. **Таким должен был бы оказаться и всемирной значимости эпос о мировой войне.**) Чтобы создать такой эпос, или же «роман-эпопею», или любую иную, но вдумчиво-всеохватную прозу, нужен прозаик великанского дарования и планетарного кругозора. И, по нашему убеждению, он — в силу известных нравственных причин — может быть только русский (татарский, украинский, белорусский, казахский — детали не важны; не татарский ли ветеран, и своим поступком дважды герой, покончил с собою в скорби по славной Брестской крепости?). Однако, при переборе обозримых и уже явленных имён, такого прозаика в нашей по-прежнему многонациональной семье не просматривается. (Киргиз Айтматов? Нет, силы нужны совсем не те.)

Может быть, эпическая проза вообще и никогда с указанным не справится. Тем более очевиден и навсегда непреложен факт: русская поэзия в познании России и её места в мире, в познании **русской задачи** уже обозначила путь решения. И ещё долго в её решении будет всемирно первенствовать именно она.